

ВЛАДИМИР ГУРЬЯНОВ



## СУРОВЫЙ УДЕЛ

ПОВЕСТЬ

1

Теперь, милые мои, можно поведать об этом. Время давно поглотило ту жизнь и тех людей. В иной мир унесли они не только великие радости и печали, но и страшные тайны, которые угнетали души, чернили сердца.

Да и деревень тех, в которых под звон церковных колоколов и с верой в Бога шла эта жизнь, нет уже на белом свете. Только бурьян выше, где когда-то стояли дома, только дотлевают чёрные покосившиеся кресты на заброшенных и забытых погостах. А унылые ветры старательно заматают былое.

Это сегодня деревня от деревни — за полдня не дойдёшь. В старину они густо селились, словно тянулись друг к другу. По утрам, бывало, кто из пастихов первым на заре кнутом щёлкнет — три-четыре деревни окрест слышат и тут же откликаются ответным щёлканьем. Петухи ещё раньше меж собой переклик затевали. Теперь же сельскую глубинку так развернуло и перегорбатило, что кличь — не кличь, а до соседней деревни не докличешься. Ушла та пора безвозвратно...

Так вот, милые мои, в Плечёвке, что протянулась вдоль берега небольшой светлой речушки, поросшей вёслами и тальником, жили два закадыч-

---

*ГУРЬЯНОВ Владимир Григорьевич родился в 1942 году на станции Жерновка Петровского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского. Служил в истребительной авиации, был учителем сельской школы. Автор повестей "От чистого сердца", "Бабка Настасья", "Долюшка-доля", "Суровый удел", многих рассказов и очерков, посвящённых сельской жизни. Заслуженный работник культуры, член Союза писателей России. Живёт в Саратове.*

ных дружка. Бедно жили. У Миньки Сарайкина не было отца. Простудился, когда возил с мужиками горшки из Пензы в Саратов. Слёг и не поднялся больше. У Гриньки Григорьева, слава Богу, отец с матерью были в добром здравии. Однако кроме Гриньки в семье было ещё семь ртов. Знамо, не хватало на всех пропитания и одежки. Летом-то ничего: где пескарёй в речке наловит, где щавеля с ягодами в лесу наберёт, где черёмухи с дикими яблоками, а то и грачиных яиц фуражку принесёт. Сам, бывало, поест, но большую часть младшим несёт. Уж как ждали-то они его! Глазёнки так и светились от радости.

Минька тоже был не жадный, заботливый. Самую большую часть добычи нёс домой, своей мамане тётке Фиёне. И Гриньке помогал раздобыть еды для малышей. Как два родных брата были, всюду вместе. Души друг в друге не чаяли. Бедно, а радостно им жилось.

Зимой хуже становилось. Одежки — ни у того, ни у другого. А главное, нечего обуть. Да разве ребятшек удержишь на печи! Гринька был крепче и начинал первый. Совал босые ноги в печку, прямо к пламени. Калил их до боли. Потом выскакивал на улицу и стремглав летел по глубокому снегу к Миньке. Благо жил тот недалеко, наискось, на другом порядке. У друга он снова совал красивые и заледенелые от морозного снега ноги в печку. И они дымились, обсыхая, и поначалу ничего не чувствовали.

Мать, известно, ругалась на Гриньку: заболеешь — всю жизнь клячиться будешь. Но Гриньку простуда не брала. Шустрый и подвижный рос он. И не смотри, что роста невысокого: крепенький был и силёнку чувствовал. Затееся, бывало, ребятня возиться да силу друг друга спытывать, так Гринька всех разбросает и положит на лопатки. А лет в пятнадцать, озоруя, подхватил на плечи годовалого бычка и ну бегать с ним по дугу. С тех пор и прозвище к нему прицепилось — Бык.

Минька послабже был, хотя и ростом выше. Тихий такой, красивый. Светлые кудри почти до плеч. И голос тихий имел, и характер спокойный да покладистый. Словом, курицу не забидит, воду не замутит. Боговерующий был.

Гринька, конечно, тоже осеял себя крестом, но в церкву ходить не любил. Да и некогда было. То в поле с отцом, то в ночном с табуном богатого деревенского мужика дядьки Фёдора Максимкина, то за хворостом в лес, то скотину на дворе поить-кормить. Куда денешься — старший в семье. Так было заведено в роду. И Гринька гордился этим. По чести сказать, в пятнадцать лет он был уже настоящим мужиком и мог самостоятельно вести хозяйство. Крепкая порода, жёсткая наука сурового молчаливого отца, который тащил на своих широченных плечах огромную семью, сметливость, разворотливость и трудолюбие Гриньки сделали своё дело. Прослыл он добрым работником. Богатые мужики с охотой брали его в найм то на сенокос, то на жнитво, то на мельницу. Об оплате договаривались с отцом. С ним и расплачивались.

Как-то по весне работал Гринька у дядьки Фёдора Максимкина — загон новый строил для скота. Да так ладно и быстро всё сделал, что хозяин, расчётливый и знающий цену конейке, щедро расплатился с отцом и сказал: “Доброго работника поднял, Григорь Киреич. Не просидит, не провалется. Ухватистый парень. Жнитво начнётся — присылай ко мне. И похарчится вволю, и зарабатает. Я за ценой не постою. И вот ещё что. Передай ему этот пиджак. Не новый, но сукно ещё крепкое. Поносит”.

Словом, стал Гринька работником нарасхват. А это любо ему. Везде старался успеть. Где один, где с дружкой закадычным Минькой. Минька, знамо, не такой расторопный. Да и силёнка не та. Но делал всё с любовью, старательно. И никогда работу на полпути не бросал. Бывало, уже качается от усталости, а передохнёт немного, перекрестится — и снова за дело. Тётка Фиёна не нарадовалась на своего единственного. Смирный, послушный, услужливый. А уж в церковном хору пел — за душу брало. Отец Тихон как-то погладил его по белокурой головке и сказал: “В семинарию его, Фиёнушка, надобно. Божьим человеком растёт он у тебя. Вон, глазки-то какие чистые да кроткие. Вся душенька, как на ладони, светится. И к музыке у него особ-

ливая способность. Гармоника-то у него, как живая, человеческим голосом так и выговаривает”.

Гармоника Миньке от отца досталось. Старенькая двухрядка с потемневшими пуговицами-клавишами и клееными-переклееными мехами. Никто ему не показывал, как с ней обращаться. Лет с пяти-шести он с удовольствием пиликал на отцовском инструменте, старательно расставляя звуки по своим местам. Сначала они были строптивые да непокорные, чехардились и озорничали, а потом вставали в ряд и дружно пели. Знатно выучился играть Минька. Бывало, пробежит пальцами по клавишам, поднимет свою кудрявую головёнку, широко откроет свои голубые глаза и поведёт мотив. А сам уже ничего вокруг не замечает. Пела Минькина душа вместе с гармошкой.

Лет в двенадцать Миньку первый раз позвали играть на свадьбу. Он засиял от счастья. На свадьбе играть — дело не шуточное. Каков гармонист — такова и свадебка. Знать, признали в деревне Минькины таланты. Только тётка Фиёна — ни в какую! Мальца такого — да на свадьбу? Испугалась за Миньку. Так бы и не отпустила. Да отец жениха уговорил. Пойдём, говорит, и ты, Фиёна. Присмотришь за Минькой. А полмешка ржи — сразу после свадьбы. Да и со стола кое-что перепадёт.

Три дня ухаля, гудела и звенела свадьба. Уже полночь уставший и побледневший Минька лез на печку и спал почти до самого полудня, пока свадьба не очухалась, не опохмелилась и вновь не зашумела на все голоса. Тут уж и Минькин черёд подходил. Кто-то затянул песню — гармоника сразу же подхватывала её, зазывая остальных. Кто-то топнул ногой — и плеснула жаром Минькина гармошка. Не усидеть никому! И тесно стало от удалого, с присвистом, пляса молодых мужиков, от дружного выстука каблучков зардевшихся девок и молодых баб. А там и степенные бородатые мужики со знанием дела в круг входили...

Осилил Минька свадьбу. Побледнел весь, но осилил. Хозяин остался доволен и слово свое сдержал с лихвой. Мешка ржи не пожалел за Минькину игру и опорки старые, но ещё крепкие подарил. Тётка Фиёна аж заплакала, прижав сынишку к груди: кормилец подрос...

Отец Тихон при встрече сдержанно сказал Фиёне: “Свадьба — дело Божье. И людей веселить — греха в этом нет. Грех, коли к вину сызмальства приучен будет. Разумей, Фиёнушка”.

С той поры Минька на многих свадьбах играл. В богатые семьи, знамо, других двурядочников кликали, которые в возрасте были и цену себе знали. Гармоники у них были не в пример Минькиной — звонкие да чуткие. Плату за свадьбу они сами устанавливали. Минька же с матерью никогда ничего не просили. Что дадут. И люди не обижали. Играл Минька от души. Вина в рот не брал. Упаси Боже! Слова отца Тихона крепко легли на душу.

Сколько же песен услышал Минька на свадьбах! И весёлых, разудалых и вольных, как ветер, и задумчиво-печальных про долю мужицкую, про судьбинушку женскую, озорных, приправленных ядрёными словами... И все на память взял, ко всем лады подобрал. Словом, годам к семнадцати вышел он в первые гармонисты по округе. Богатые мужики перестали чураться Минькиной игры, в первую очередь его стали звать. Но не часто это случалось. Богатых мужиков в Плечёвке по пальцам пересчитать можно было.

Хвалить тогдашнюю жизнь сердце не поворачивается. Почитай, в какой избе нужда по углам сидела да на печке вместе с малыми ребятишками с голодухи плакала. Но совесть люд имел. Знал, что хорошо, что плохо, и старался в чистоте и согласии сохранять свою душу. Отсюда и силушка, и терпение в народе было.

## 2

А молодость брала своё. Стали на Миньку девки заглядываться. То одна, бывало, подсядет поближе, то другая норовит рядом пойти, то третья семечек каленых за пазуху насыплет, то четвертая шаловливо наденет венки из пахучих лесных цветов на белокурую Минькину голову. И неспроста: пригож стал собой Минька. Хоть и худенький, а росту высокого, плечистый,

глаза голубые, задумчивые, добрые. Голову прямо держит на высокой шее, густые светлые кудри — до плеч. А играть зачнёт — обязательно встанет во весь рост, голову приподнимет, подаётся чутко вперёд и устремит взгляд вверх голов. И лёгкий румянец проснётся на его щеках. И льются живые звуки из его гармонии, летят над речкой, над полем, блуждают и прячутся в ближнем лесу. А вместе с ними летит чистая и взволнованная Минькина душа. И поднимается высоко-высоко. Не достать до неё, не дотянуться никому.

Но однажды на гулянье вдруг ойкнула Минькина гармоника и умолкла. А потом сменила мотив и запела так, будто густой хмель ударил в голову гармониста. Рассказывала гармоника о тайном и сокровенном, о желанном и несбыточном, смеялась от счастья и печалилась, остерегаясь чего-то. Чуете, милые мои? То встретился Минька с долгим взглядом красивых карих глаз Маруси Никитиной — первой красавицы в округе. И всё-всё рассказала ей гармошка. Запылали огнём смуглые Марусины щёки, счастливый смех обнажил её ровные белые зубы, чёрная тугая коса бесконечно потекла меж розовых девичьих пальцев. Задорные искорки вспыхивали в её ласковых глазах. А потом вскрикнула гармонь и заиграла жарко, зазывая в круг на пляску — разделить предчувствие Минькиного счастья.

С гулянья Маруся пошла рядом с Минькой. И вскоре они остались одни. Никто не заметил, как злобно метнулся им вслед чёрный взгляд отчаянных и дерзких глаз Митьки Косарева. Давно он тянулся к Марусе. Но девица даже намёка на интерес не подала. Была она круглой сиротой и воспитывалась у деда. Мужиком он слыл крепким, хозяйство в справности держал, а во внучке души не чаял. Послушная она росла, проворненькая и опрятненькая всегда. И срушная — за что ни возьмётся — всё огнем горит. Невеститься дед Фёдор до той поры внучке не разрешал. Только на шестнадцатом годку пустил её с подружками на гулянье.

Крутился Митька вокруг неё, старался разными знаками да вниманием склонить к себе сердце девицы. Но не лежало оно к нему. Вроде и высок, и ладен, и тёмным лицом по-своему красив, а вот нет и всё тут. Побаивалась его Маруся. Смотрит он своим чёрным взглядом, и не поймёшь, что у него на уме. Видать, неспроста в ребятишках у него прозвище было — Злодей. За то, что со смехом отрывал головы у грачат, с удовольствием топил котят и кутят. Даже ёжика утопил в реке за то, что поколол об него палец. И дрался злобно, с остервенением. Бил чем попадя, не жалея. Остерегались его сверстники, дружбу с ним не водили.

Митька глаз не спускал с Маруси. Равнодушие красавицы задело его гордыню. Пользуясь тем, что его побаивались, он отпугивал парней от девки, а некоторых и колотил. Он первый заметил, как по-особому стала смотреть красавица на гармониста. Понял он, куда потянулось её сердечко. Закипела в груди чернота. Начал задираться на Миньку по любому поводу, угрожать. Дошло это до Гриньки. Он тоже любил вечерние гулянья, но бывал на них редко. Сёстры и братья подрастали, и нужды становилось больше. С утра до ночи вместе с отцом Гринька был в работе — то по найму, то на своих десятинах. Пожениться толком было некогда. А тянуло, ух, как тянуло...

В тот вечер он выпросил у дядки Фёдора Максимкина жеребца и верхом поскакал из Плечёвки в Ямпольевку, где за околицей села затевались воскресные гулянья. Привязав коня за цветущую яблоню, Гринька отыскал глазами Митьку, властно вытолкал его за круг и, стиснув локоть железной рукой, тихо спросил: “На любка пойдёшь?” Митька отшатнулся. Гринька предлагал ему выйти на кулачный бой. И Митька струсил. Он не раз видел, как Гриньку вызывали на любка взрослые и крепкие парни, но все валились наземь от бухающих ударов Быка. Митька решил схитрить и увильнуть от боя, превратив всё в шутку:

— Да ладно тебе. Вон девок сколько. Любую бери — глазом не моргну.

Поняв, что Митька не хочет выходить на честный бой, Гринька как бы в шутку затеял возню с ним. Обхватив Митьку поперёк, он сжал его так, что захрустели кости, и, шепнув: “Слышь! Не замай Миньку... Голову отверну”, — грохнул его через себя о землю. Когда Митька кособочась встал, конский топот раздавался уже далеко за селом.

Дымкой окутались цветущие яблони. Играла Минькина гармонь. Весело смеялись девицы. В низине над рекой щёлкали соловьи.

Когда встречи парня и девки стали постоянными и допоздна, бабана Матрёна заволновалась и рассказала о своих опасениях деду Фёдору. Тот погладил сухой рукой окладистую седую бороду и, расправив в доброй улыбке суровые морщины на лице, успокоил жену:

— Молоды ещё грешить. Душеньки у них чистенькие, как вода в роднике. А уже ликом-то оба — хоть икону пиши. Парень хороший, только бедный.

— Я и говорю про то, — поддакнула бабка Матрёна. — Отпугнёт хорошего жениха. А я уж, чаю, к осени сватов ждать надо. Ты уж поукороти малость внучку с гуляньями-то. Не дай Бог, слухи нехорошие пойдут...

Дед Фёдор, пораскинув умом, согласился:

— В поле с собой брать буду. На гумне некогда хороводы водить. Работы невпроворот. А сватов зашлют — не беда. Всю жизнь под своим крылом внушеньку не продержишь. Честь по чести выдадим, коль хороший человек сыщется. Чай, сундук-то уже приготовила? Смотри, Матрёна, она хоть и сирота, да наша внучка. Чтоб в любой дом не стыдно было отдать. А Миньку не гони. Дети они ещё... Да и жалко мне его. Не такой он, как все.

Бабка Матрёна, зная крутой нрав мужа и опасаясь ему перечить, всё же сказала:

— Ты уж, отец, не больно её работой принудяй на гумне-то. Красота бережение да негу любит. Успеет наработаться...

Дед Фёдор недовольно хмыкнул: мол, без тебя, старая, знаю.

### 3

...Прошёл сентябрь. Тёплый и тихий октябрь поселился в полях. Нежаркое ясное солнышко ласково и грустно смотрело на посеревшую землю. Плеснули ноющей желтизной клёны в лесу, богатые шафрановые шапки надели молчаливые дубы, склонила кроваво-красные гроздья ягод, вошла в пору ранее неприметная калина. Протянуло от неё к раскидистому вязу сверкающие нити бабье лето. Лёгкая тихая грусть нет-нет, да и охватит сердце. Осень...

Гринька с отцом, управившись в поле, работали на мельнице у Селезнёва в соседнем Захаркине. Большого помола ещё не было, но с раннего утра у мельничных ворот уже выстраивались подводы с мешками зерна. Гринька играючи подхватывал с весов тяжёлые осьминные мешки и почти бегом нёс их к засыпной яме. Мужики восхищенно дивились силе и ловкости парня. “Киреич, — говорили отцу, — ростом не в тебя, а вот силушку от тебя черпанул. Смотри, как мешки тютюшкает! И усталь не берёт”. Отец добродушно улыбался, радуясь за сына. Но сам никогда не хвалил его. Скупой был на похвалу. В работе и строгости держал своего старшего. Даже на улице отпускал его с наказом: “Не загуливайся. Завтра чуть свет разбужу”. Так что приходилось Гриньке порой и поспать-то часок-второй, когда властный голос отца поднимал с постели. И начинался новый день, наполненный работой без конца и края.

Гринька не роптал. Всегда был весел. Любая работа давалась ему легко, ко всему имел сноровку и понятие. А минувшим летом жизнь его краше стала. Появилась у него зазнобушка — грудастая светловолосая Пелагеюшка из Ямпольевки. Гринька с лица-то не больно казист. Крупный нос, крепкий подбородок, вихрастый непокорный чуб и маленькие синие глаза. Но всегда весёлый, шутливый и светлый, он по душе был многим девицам. Гринька выбрал под стать себе — небольшого роста, крепкую и работающую Пелагеюшку. Два раза подрался из-за неё с ямпольевскими ребятами. Отбил Пелагеюшку и стал её ухажёром.

Молодёжь пользовалась последними тёплыми деньками. Вечером со скотиной уберутся, подфорсятся, кто какую возможность имеет — и за околицу. Песни попеть, хороводы поводить, в игры поиграть, да ненароком дружка милого или подружку желанную за руку взять и увести в тёплую ночную тишину.

Одна беда — гармония у Миньки совсем расхулилась. Сипеть стала и похрипывать. И как ни клеил её Минька, как ни латал — надолго не хватало.

Сверстники знали, что он давно копит деньги на новую гармошку. Да медленно шло это дело. Не с чего было копить-то. Вот Гринька как-то и бросил клич: всем миром помочь справиться Миньке новую гармонию. Откликнулись все, кто мог. Лишней копейки, знамо, ни у кого не было. Но ради такого дела наскребли малую толику. Да и что за жизнь у молодых без гармоники. Ни встретиться, ни повеселиться, ни поплясать, ни песни попеть, ни попечалиться влась, ни погругстить.

Через неделю, субботним вечером, Гринька снял свой картуз и пошёл по кругу. Плечёвские, ямпольевские, марьевские, захарькинские ребята бережно клали принесённые деньги. Гринька шутил: “Клади больше — Минька своё отыграет на твоей свадьбе”. Минька тоже высыпал из красного узелка в общую кучу свои накопленные деньги. Целый картуз набралось! Сообща пересчитали добро. Выходило — в самый раз, даже с небольшим запасом. Весело на душе у всех стало, светло. Довольные улыбки так и сияли на молодых лицах.

Ошарашенный неожиданным счастьем, Минька загорелся в ночь в город на базар податься, чтоб уже завтра порадовать друзей игрой на новой двухрядке. Он представлял её себе уже давно: сверкающую зелёным перламутром, ослепительно-белыми клавишами, с красными бархатистыми мехами, голосистую, отзывчивую, послушную.

— Может, с утра поедешь? — спросил Гринька.

Какое там — с утра! Ошалелый от сбывающейся мечты и переполненный благодарностью, Минька и слушать ничего не хотел: завтра будете веселиться под новую двухрядку — и всё тут.

От Плечёвки до Соболева разъезда версты полторы, не более. После полудни всегда товарные поезда проходят. На подъёме товаряк идет медленно. Вскочить на подножку тамбура — дело привычное для плечёвских ребят. А там через полчаса и Петровск. Переждав на вокзале часок-другой, можно смело идти до базара — и выбирай себе товар по душе. Не спеши — торгуйся. Базар спешки не любит. Минька хорошо знал это. Не раз бывал там с матушкой и деревенскими мужиками.

Друзья проводили домой Марусю. Потом зашли к Миньке. Сказался матери, куда едет. Завернул деньги в чистую тряпицу и аккуратно засунул в карман старенького пиджака. Тётка Фиёна тоже не хотела отпускать сына в ночь, да разве удержишь, как загорелся. Напоила обоих молоком и проводила до калитки. Гринька хотел было повернуть домой, но ноги сами пошли за Минькой. Так и дошли до кладбища, где дорога круто уходила вправо, к железнодорожному разъезду. Весёлый и возбуждённый Минька то и дело ощупывал в кармане деньги и улыбался. Пожали друг другу руки. Расходясь, стали уже теряться в темноте, когда Гринька вдруг окликнул его:

— Минька! Давай я провожу тебя?

— Не надо! — донеслось из темноты. — Тут рукой подать. А тебе вставать рано. Жди завтра к вечеру!

Гринька постоял ещё, пока друг не растворился в дымке, и пошёл домой. Надо было выспаться. Спозаранок они с отцом подрядились ехать за брёвнами в Горелый лес для мельника Селезнёва. Сговорились за три пуда ржаной муки и мешок отрубей. Своя-то рожь не шибко уродилась. Семена засыпали, а остальное смолоти. Пораскинув, матушка решила экономить с осени: подмешивала в муку отруби и пекла хлеба. Вкуснощие выходили! Да и каша, слава Богу, не переводилась: хорошие проса в этом году уродились. По праздникам и блины из пшённой муки пекли. Просо обрушивали в ступе, а пшено молоти на муку на ручной мельнице. Пухлые, рассыпчатые получались из неё блины. Ешь — не наешься. А если с кислым молоком — то лучшей еды и не надо.

Заснул Гринька быстро. Но спал беспокойно. Сон нехороший привиделся. Будто спилили они с отцом дуб. Упал он со стном. А из-под ветвей Минькин голос послышался, жалобный такой, тоскливый: “Помоги мне, Гриня... Больно мне... Я тебе на новой двухрядке сыграю...” Бросился Гринька на голос, раздвинул сучья, а там нет никого. Только листья у дуба чёрные какие-то.

Проснулся Гринька в холодном поту. Отец уже запрягал лошадей, а мать суетилась у печки, выставляя на стол вчерашнюю похлёбку и пареную тыкву. Чуть занималась заря.

#### 4

А в это время вдоль железнодорожного полотна и желтеющих лесополос ехала подвода. Баба сладко дремала на мешках с шерстью, подрёмывал и чернобородый мужик, изредка трогая вожжи. Сосновские ехали на базар менять шерсть на валенки. Едва забрезжило, а потому они не торопились. Лошадь, изредка мотая головой, легко тянула телегу по укутанной белой колее дороги. Вдруг она всхрапнула и остановилась. Мужик очнулся от дрёмы, дёрнул за вожжи и прикрикнул:

— Но! Пошла!

Но обычно спокойная и послушная лошадь храпела и пятилась назад. Мужик пристально всмотрелся в дорогу, сунул вожжи жене и тревожно сказал:

— Держи крепче. Никак человек лежит.

— Ой! Не ходи! Давай уедем от греха подальше, — испуганно проговорила жена.

Мужик нерешительно помялся. Потом нашарил в кармане коробок со спичками, шагнул вперёд. Наклонившись над лежащим поперёк дороги человеком, он чиркнул спичкой и в ужасе отпрянул. В луже крови с перерезанным горлом лежал Минька-гармонист из Плечёвки. Потом, когда рассвело и приехали из милиции, на худом Минькином теле насчитали ещё шесть ножевых ран. Страшно казнили да мучили Миньку за узелок с деньгами...

Потрясла дикая весть всю округу. Это сейчас, прости Господи, антихристово время наступило. Там застрелили, тут взорвали, здесь зарезали или удушили... И вроде бы так себе, ничего особенного. А в те времена народ хоть и бедно жил, да жизнью дорожил, цену ей знал и берёг.

Из ближних и дальних деревень пришёл люд хоронить Миньку. Рыдали бабы и девки, не стесняясь, плакали мужики и парни. Отняли у них чистую и светлую часть жизни. Кто же не слышал его гармонику, говорящую человеческим голосом? У кого душа не замирала, когда высокий Минькин голос звучал в церковном хоре, кто не плясал и не пел под его чудную игру! Кто не дивился его кроткости и терпению. В жизни плохого слова не сказал, косяго взгляда не бросил. Эх, Минька, Минька! Не сбылась твоя мечта, не играть тебе на новой гармонике, не веселить, не печалить людей своей музыкой, не играть на свадьбах. Не радовать боле тебе матушку Фиёнушку, не ворковать с милой сердечку Марусенькой...

Гринька почернел весь от горя. Казнил себя за то, что не проводил друга, не уберёг от лихого человека. Несколько раз вызывали его на дознание. Всё поведаль: как дружили, как ели-пили с одной ложки, как работали вместе, как жениться стали. И, конечно, как провожал друга в ту проклятую ночь. Помутузили, знамо, но в конце концов сняли все подозрения. Сошлась людская молва на одном: Митьки-злодея рук дело. А тот враз пропал, тут же после Минькиных похорон. Искали везде — как сквозь землю провалился. Втайне от всех искал его и Гринька. Ох, как искал...

Тётка Фиёна от великой тоски умом тронулась. Встретит Гриньку, возьмёт за руки и, заглядывая ему в глаза, ласково говорит:

— Приходи сегодня, Гринь, к нам. Миня должен с базара приехать. Купил он гармонику-то. Приходи...

Разрывалось сердце у Гриньки. Не вздумай он тогда собирать с миру денги на гармонику, жив бы остался Минька. Как тут себя успокоить, чем утешить, как забыться? Нет, Гринька, не жить тебе с этим грузом — не освободиться.

Верно в народе говорят: пришла беда — открывай ворота. Наложила на себя руки красавица Марусенька. Чудом успели вынуть из петли. Неделю металась в бреду и всё шептала: "Хочу к Минечке..." Кое-как оправилась, но красота поблёкла, как внешний цвет после внезапных заморозков.

И пошло-поехало. Беда за бедой в черёд стали. И всё на одну деревню. Отца Тихона зимой за церковной оградой городские люди застрелили, а матушку и троих меньших детишек куда-то увезли. Чем уж им отец Тихон не пришёлся, одному Богу известно. Народ-то его уважал. А вот заступиться побоялся... Отгудели церковные колокола по округе, и саму церкву разворовали-разграбили. Некуда и не к кому стало сходить очистить душу и силы почерпнуть в Божьем слове.

А по весне невыносимый голод в деревню пришёл. Крепко она пошатнулась. Заросла бурьяном выше крыши. Семьями стали вымирать люди. По неделе лежали трупы в избах — не успевали увозить на погост. Потянулся народ с узелками кто куда: кто в Баку, кто в Ташкент, кто в другие города, где, по слухам, можно было найти работу и пропитание, переждать лихолетье. Многие, обессилив, помирали на обочинах дорог и полустанках. Их свозили на погосты и прикапывали в неглубоких ямах. Стучалось, привозили и ещё живых, но не зарывали, а клали поодаль, чтобы отошли своей смертушкой. Эх, жизнь! Как уж ты не кромсала и не уродовала деревню русскую. Где было взять терпения и силушки?

Это тогда... А сейчас! Голода нет — это правда. А всё одно, по деревням будто мор идёт. Зайди в любую вечером — редко в какой избе огонёк увидишь. Грустно и тихо стоят дома с заколоченными окнами. Кто помер от водки, безденежья и тоски, кто, как в 33-м, уехал пытаться счастья на чужой сторонушке. Господи! Да когда же избавление будет для деревенского человека?..

Гринька прежде отца понял: не выдержит голода семья, помрёт. Братики и сестрички уже пухнуть стали, да и мать с отцом больше лежали, обессиленные. В ночь ушёл он на железную дорогу, где в большой, слитой из паровозного шлага казарме жили путейцы — семей десять. Они тоже не досыта ели в ту пору, но хлебушек на столе появлялся и похлёбка была хотя и жиденькая, но с крупой. Даже маслица постного в чугун деревянную ложку добавляли. Так что масляные блёстки в большом общем блюде всегда плавали. Вот сюда-то и пришёл ночью Гринька в надежде заработать чего-нибудь из еды. Просидел на крыльце до самого утра, пока рабочие не позавтракали и не вышли на наряд. Бригадир, большущий чернобородый мужик, увидел Гриньку, сердито спросил:

— А этот ещё откуда?

Некоторые рабочие знали Гриньку, пояснили:

— Плечёвский он. Семья десять человек. Того и гляди, сгинет. Гринька-то — старший сын. Работник он золотой, Макар Николаич. Может, возьмёшь?

— Куды я его? Он ноги еле носит...

Бригадир почесал затылок, ещё раз посмотрел на парня, который, опустив голову, ждал приговора, и сказал вразяжку:

— Не могу на путь взять — слаб больно. Вот если пока бабам в помощники: дрова рубить, воду носить. А там видно будет...

Гринька от радости аж подскочил и спросил, где топор и дрова. Рабочие, довольные исходом разговора, рассмеялись. И бригадир тоже улыбнулся:

— Ишь, шустрый какой... Иди в казарму, скажи тётке Фросе, чтоб покормила тебя. А потом уж за топор.

Разомлевший от горячей похлёбки и кусочка чёрного хлеба, Гринька метался по двору казармы, как оголтелый. Из глубоченного колодца накачал бочку ледяной воды, расколот штук десять старых шпал. Часть отнёс к печке, где тётка Фрося — жена бригадира — готовилась варить обед для бригады, а остальные аккуратно сложил в штабель. Нашёл под крыльцом старые грабли и метлу, очистил от мусора и подмёл двор. Заглянул в конюшню — и здесь навёл порядок. Потом соскоблил лопатой грязь на полу в сенях казармы и на широком крыльце, вымыстал их ледяной водой, отдраил метлой и вытер старыми лохмотьями. Жена бригадира не нарадовалась на помощника. А рабочие, придя на обед, подивились порядку на дворе.

— Я же говорил, этот даром кусок есть не станет, — довольно сказал рабочий, хлопотавший с утра за Гриньку.

Умывшись, рабочие уселись за широкий и длинный обеденный стол. Гринька в это время сидел на крыльце.



— А ты чего сидишь? — прогудел бригадир. — Марш за стол.

Тётка Фрося дала ему старую деревянную ложку, хороший ломоть хлеба, подвинула поближе миску с похлёбкой и, взглянув на мужа, сказала:

— Здесь будешь сидеть, сынок. Посмелее ложкой-то... Чай вон как набегался.

У Гриньки в груди захолонуло. Приняли! За столом место дали. Да я... я... Вот увидят ещё, как я работать буду. С такой еды я быстро за силу возьмусь, думал он, глотая горячую похлёбку. А хлеб не тронул, незаметно сунул его в карман. Но тётка Фрося, стоя у печи и наблюдая за столом, увидела, подложила ему ещё маленький кусочек. Но и его Гриня не взял в рот, а спрятал. В ночь решил сходить домой и отнести хлеб семье. Тётка Фрося поняла это и вечером, переговорив тихонько с мужем, насыпала в тёмный платок пригоршни четыре крупы, сверху положила большую горбушку хлеба, завязала в узелок и дала Гриньке: “Неси. Да поем лучше иди. По дороге-то разные люди ходят... Сохрани тебя Бог”, — и погладила Гриньку по взъерошенным волосам. Вишь, своих детей-то тетке Фросе Бог не дал, а так уж хотелось приласкать-приглубить дочку или сыночка. Вот, глядя на Гриньку, и заговорило в ней материнское. Ему на счастье, а семье во спасение.

## 5

Через день по ночам ходил домой Гринька. Приносил то крупички немного, то сухариков, то свёклы пареной, то с десяток картофелин. Поднял-таки семью на ноги. А когда отец отошёл немного и потянулся к делам, привёл его на железную дорогу к бригадиру. Тот посмотрел на отца и сказал:

— Помню тебя по мельнице. Ох, и здоров же ты был.

Отец грустно улыбнулся.

— Но ничего, — продолжил бригадир, — пока в себя приходишь, подпарывать траву на полотне будешь. А подкормишься — нам твои плечи понадобятся. Скоро рельсы менять начнём. А парень твой хорош — за двоих тянет, да и всё хозяйство казарменное на нём. В ведомость его включил, скоро уплату получит. Быть вам железняками!

Так оно и произошло. И отец, и все четыре сына, и дочери стали железнодорожниками. А потом и их дети пошли по стопам родителей. Будто в благодарность за спасение рода от голода они любили железную дорогу и были незаменимыми работниками.

\* \* \*

Разметала беда деревню. Выжала силы и соки, обезлюдила. Спас Григорий свою семью, а сохранить Пелагеюшку не успел. Прямо у него на руках, отщипнув чёрным сухим ртом крошку принесенного им хлеба, тяжело вздохнула и ушла навсегда. Один хоронил её Григорий. Некому больше, никого не осталось в семье. Выкопал могилу, где погуще кресты стояли: пусть не скучает Пелагеюшка. На руках принёс её на погост, завернул в старенькое лоскутковое одеяло и бережно опустил на вечное поселение. Ещё одна звонкая струнка оборвалась в сердце. Не нарожает ему Пелагеюшка, как обещала, кучу здоровеньких ребятишек...

Из Ямпольевки Григорий зашёл к себе в Плечёвку проведать Марусю. Свою семью он вот уже месяц как перевёз на железную дорогу, в казарму. Сподручнее так было. Отец с Григорием уже устроились на постоянную работу, но и подросткам дела находились, баклуши не били, а каждый старался хоть что-то да принести в семью. Дружно жили. Отца почитали и упаси Бог его послушаться. Да и Григория слово было законом для младших. С ним даже отец говорил по-особому, вроде как с ровней. Младшие и за то любили Гриню, что играл с ними, дурачился и хохотал до упаду, заражая веселостью даже хмурых да обиженных. Да вот времена настали горькие, и посуровел Григорий, помрачнел. Не до веселости. Невесту свою схоронил. А пришёл навестить Марусю — нашёл лишь заколоченный дом.

Чудом живой сосед дед Семён рассказал, что пришли какие-то люди и угнали со двора деда Фёдора лошадь, овец, да из сундука всё повытащили. Дед Фёдор слёг и через неделю помер. Вскоре за ним и бабка Матрёна преставилась. Внучат разбросали кого куда. В основном по родственникам. А Марусю отдали в люди, в город. Живёт она там у мельника за кусок хлеба, работает с утра до ночи и терпит побои и издевательства от полоумной мельниковой дочери. В холодных сенях босиком полы моет...

Занозой засела в душу Григория эта весть. Задумал он навестить Марусю, а может, и помочь чем. Хотя сам не знал, чем мог облегчить её жизнь. Отпросился у бригадира. Тот к тому времени уже души в Григории не чаял. Мало того, что сильный и работающий — но и сообразительный парень на поверку оказался, во всё вникал, до всего доходил, ко всему свой подход имел. Совсем зауважал его бригадир, когда убедился, что силён Григорий в грамоте. Писал чисто и красиво — что твой дьяк. Умножал, делил быстро и безошибочно. А уж когда взял старенькие счёты с почерневшими костяшками и лихо защёлкал ими, ведя подсчёт, — бригадир рот раскрыл от восхищения.

— Где же ты этой премудрости выучился? — спросил он.

Григорий, не отводя взгляда от счёт, ответил:

— На мельнице. Сначала присматривался, а потом и сам пробовать стал. Да здесь просто всё...

Бригадир покачал головой. С той поры стал держать Григория поближе к себе и с удовольствием рассказывать про бригадирскую науку. Вскоре пришла бумага, что произведён Григорий в старшие рабочие с прибавкой к жалованию.

Вот тогда-то и поехал Григорий в город к Марусе. Двухэтажный дом стоял рядом с мельницей. Григория на порог не пустили: вертлявый мужичок долго выспрашивал, кто он, и откуда, и зачем ему понадобилась прислуга Маруся. А потом закрыл дверь. Рассердившись, Гринька долбанул дверь ногой и нос к носу столкнулся с приземистым толстым мужиком. Это был сам мельник. Он осмотрел Григория внимательным взглядом холодных блёклых глаз и сказал:

— Проходи под лестницу. Но ненадолго. У Маруси работы много.

Григорий еле узнал красавицу. Почерневшая, с потухшими ввалившимися глазами, в стареньком платьишке, исхудавшая и неулыбчивая, она и близко не напоминала ту Марусю, от которой у парней дух перехватывало. А ещё руки... Они от кистей до плеч были покрыты кровоподтёками. Маруся заметила недоумённый взгляд Григория, слабо улыбнулась и, накинув на плечи нечто подобное пальто, сказала:

— Дочь хозяина щиплет и бьёт. Она умом тронутая. Щиплет и смеётся. А то заплачет и кланяется мне в ноги...

Григорий развязал мешок, в котором привёз Марусе немудрёные гостинцы, но выкладывать не стал. Осмотрел тяжёлым взглядом жалкую каморку, согнувшуюся фигурку Маруси на низенькой кровати из полосового железа и, тряхнув головой, решительно сказал:

— Собирайся!

— Куда? — испугалась Маруся. — Хозяин меня из дома не выпускает.

— Не хозяин он тебе больше. Со мной поедешь. Домой. У меня четыре сестры — будешь пятой.

— Ой, Гриня, не надо! Вас самих десять человек — да ещё лишний рот. Мамаия с тятаней осерчают на тебя. Я уж как-нибудь здесь... Кормят ведь... А что приехал — спасибо тебе, Гриня. Светлее у меня стало на груди. Потерплю ещё.

Но Григорий такой — если уж чего решил, то решил. Вилить не любил.

— Собирайся, говорю! Где твои манатки? Я же работаю сейчас на железной дороге. Деньги получаю. И тятя там же. Спаслись мы, Маруся, от голода. И тебе сгнубить не дам. Что мы, чужие?

Ещё сомневаясь, не веря своей радости, Маруся стала складывать и завязывать в узелок свои немногочисленные вещи. Григорий засунул их в мешок, завязал его верёвкой и, взяв Марусю за руку, вышел из каморки. На лестнице стоял мельник.

Покрутив серебряной цепочкой карманных часов, он назидательно сказал: — Смотри, Маруся, назад придёшь — не возьму.

Маруся поклонилась ему и вышла на улицу, крепко держась за руку Григория. Солнце светило им в глаза, на тёплых крышах ворковали голуби, из садов доносился аромат зреющих яблок.

## 6

До казармы на 42-м километре дошли только вечером. Григорий подвёл Марусю к отцу с матерью и твёрдо сказал:

— Тятяня, маманя! Пусть она поживёт у нас. Я Миньке обещал защищать её, когда его нет. Теперь его совсем нет. А она сгибает в чужих людях. Пусть поживёт у нас.

Маруся не выдержала, разрыдалась и упала на колени перед отцом и матерью. Мать тоже опустилась перед ней на колени, крепко обняла её голову и тоже зарыдала. Захлопали носиками и младшие сестрёнки.

Отец быстро прекратил эту слезомойку:

— Ну, хватит. Хватит, говорю! Подавай, мать, на стол. Проголодались с дороги.

Вечно побаиваясь сурового мужа, мать была довольна таким исходом и с удовольствием занялась ужином. Постояв в нерешительности, Маруся подошла к матери и спросила:

— Я могу помочь тебе, маманя. Я всё умею...

Так с первого дня и стала она главной помощницей матери. Не ждала, пока укажут. Сама всё вызывалась делать. И у печки стояла, и обстирывала семью, и за сестричками-подростками приглядывала, следила, чтобы опрятненькими ходили. И когда скотинёшка завелась, уход за ней тоже на себя взяла: и почистит, и напоит, и накормит вовремя. А уж когда нетельная корова первенького принесла — тёлочку — так от них не отходила. Появилось молочко в семье. Мало, конечно, на всех-то, а всё равно — пища!..

Миновало голодное время. Посмелее стали на жизнь смотреть, наперёд думать.

Младшие тела набрали, щёки румянцем покрылись. Откуда всё взялось! Сестрички перед стареньким зеркальцем крутиться стали, косы свои и так, и эдак заплетать да глазами играть. И младшие братья вдрут в рост пошли, как грибы после дождя.

Вымахали на голову выше Григория, забасили и втихаря скоблили старенькой отцовской бритвой нежный пушок на розовых подбородках. В мужики хотелось быстрее. Э-хе-хе...

Про Марусеньку сказ особый. Прижилась она в семье. Успокоилась. Отпустило её душеньку лихушко. Никто её ничем не укорил — не попрекнул. За старшую дочь стала. Да и любимицей общей. Отец, бывало, за столом никому есть не даёт, пока Марусенька не займёт свое место. А она, в свою очередь, вперёд Григория за ложку не возьмётся. В уважении жили. А самое главное, снова похорошела Марусенька, налилась молодостью, в зрелую пору вошла. Бывало, редкий парень не вызовется подсобить, когда, склонив гладко зачёсанную чёрную головку, она несла от колодца ведро с водой на коромысле. Улыбалась она в ответ своей кроткой улыбкой — и всё вокруг будто светлее и чище становилось. Не скрыть такую красоту, не спрятать.

Людская молва привела в дом сватов из Ямпольевки. Отец, Григорий Киреевич, выслушал всё молча, а потом сказал:

— За честь спасибо. Как дочь она мне, но слово своё сказать не могу. Не моя кровушка, не я пестовал да поднимал. Саму спросите — она уже в поре, рассудливая. Захочет — неволить не стану. И на свадьбе посаженным отцом буду.

Ни с чем уехали сваты. Отказала Маруся. К ужину вышла из-за занавески бледная и заплаканная. Григорий тоже сел за стол мрачный и угрюмый. Он ещё только пришёл с работы, а сестрички уже нашептали на ухо, что сваты за Марусей приезжали. Понять, милые мои, парня можно: умом он понимал, что Минькина это невеста, что не пара он ей. И ростом ниже, и ли-

цом грубоват. Да ничего с сердцем не поделаешь. Потянулось оно к Марусе. Тихонько, опасаясь и тревожась, а потянулось.

Если уж по чести, то и Маруся потянулась к Григорию. Бывало, мужики возвращаются с работы, а она уже на стол всё поставит, поправит перед зеркалом свои гладкие и чёрные, как смоль, волосы, одёрнет чистенькую кофточку и с ласковой улыбкой встречает их на крыльце. И обязательно украдкой взглянет на Григория, который всегда ждал этого взгляда. Переглянувшись, обоим становилось так хорошо, что со временем это стали замечать не только мать с отцом, но и сестрички-хохотушки.

Вечерами, когда по обыкновению семья выходила на крыльцо и рассказывалась на широких ступенях отдохнуть после дневных трудов, подышать перед сном загустевшим прохладным воздухом, место рядом с Марусей никто не занимал. Здесь всегда садился Григорий. Обычно весёлый и шутейный, он вдруг умолкал рядом с девушкой. Но порой уступал уговорам младших и рассказывал про жизнь-бытьё сельчан. Да так похоже, с добрым юмором, изображал их в лицах и подражал голосу, что все покатывались со смеху. Звонче всех смеялась Мария. В эти минуты она как бы ненароком слегка прижималась к плечу Григория и смеялась ещё громче. Озорные искры металась в её карих глазах, жарко пылали смуглые щёки, радостно и гулко стучало девичье сердце.

А раз, было дело, свозили сено с покоса. Навьючили на фуру добрый воз, прижали гнётом, стянули верёвкой. Григорий стал уже отвязывать вожжи от дерева, когда матушка сказала:

— Маруся, ты тоже поезжай, поможешь Грине сено в омёт уложить. А мы к вашему приезду валки скатаем.

Григорий молча воткнул вилы в сено — как бы ступеньку на возу сделал, помог Марусе взобраться наверх, забросил ей вожжи, а сам взял лошадь под уздцы и скомандовал властно и в то же время дружелюбно: “Но, милая-а!” Изогнув шею, коняга напряглась, стронула воз с места и бодро пошла по дороге.

Было жарко. В траве, прыгая и резвясь, трещали кузнечики, гудели большие слепни, донимая лошадь, остро пахло сухим разнотравьем. Воз, мягко покачиваясь, легко шелестел железными шинами колёс по дорожному песку.

— Как же здорово, — подумала Маруся, — что маманя догадалась отпустить меня с Гриней. Хорошо-то как! Ехать бы так долго-долго, далеко-далёко. А дух-то, дух-то какой от сена! Аж голову дурманит...

— Держись за гнёт крепче, — раздалось снизу, — под гору съезжаем!

Она крепко схватилась за гнёт, уткнулась лицом в мягкое луговое сено и тихонько радостно засмеялась. Много горюшка хлебнула девица, но сейчас не было жизни краше, чем у неё. А всё оттого, что рядом был её верный друг, с которым она чувствовала себя свободно и уверенно. Вон он какой: идёт шустро, будто не работает с раннего утра, хотя серая рубашка потемнела от пота, облегла покатые широкие плечи, а загорелая мускулистая рука властно и твёрдо держит конягу под уздцы, не давая ей пуститься под гору вскачь. О ней заботится...

Мария давно почувствовала, что Григорий с каждым днём становился ей больше, чем друг, что её постоянно тянет к нему, к его неунывающему и весёлому характеру. Чего там говорить, она уже не представляла свою жизнь без него. Предаваясь мечтам, не заметила, как подъехали к казарме и остановились у незавершённого омёта.

— Не уснула там? — весело спросил Григорий.

— Ой! А как же я теперь слезу? — спросила в ответ Мария.

Григорий привязал лошадь к забору, подошёл вплотную к возу и, вытянув над головой руки, скомандовал:

— Смелее скатывайся. Я поймаю.

Мария закрыла глаза, протянула руки, ойкнула и сразу почувствовала, как крепкие руки легко подхватили её и бережно отпустили на землю. Григорий ощутил раскалённое солнцем тело девушки, упругую грудь, прерывистое дыхание, близко-близко увидел влажные тёмные глаза, полуоткрытый

рот... И впервые поцеловал её. Да таким жарким и долгим поцелуем, что, обессиленные от волнения, они сели на землю и смущённо-радостно смотрели друг на друга, понимая, что произошло великое и неповторимое в их судьбе.

Вот так, милые мои, жизнь брала своё. А как иначе? Неужто кручине волю давать и себя губить? Коль кровушка молодая заиграет да так друг к другу потянет, что светом Божиим весь мир озарится-засияет, грешно душе от такой благодати отказываться. Счастья-то на земле не так уж и много отмерено людям. Далекое не каждому оно на судьбу выпадает...

А тут сваты...

Загорелось всё в душе Григория, закрутилось, защемило, вынырнула тоска и связала по рукам и ногам. А вскоре, как на грех, подхватил малярию и свалился в жаркой лихорадке. Позеленел весь, бредить стал. Бригадир остановил товарный поезд. Открыли пустой вагон, постелили соломы и положили на неё бесчувственного Григория.

Кто поедет сопровождать? И разговора не было. Марусенька уже три дня не отходила от мечущегося в жару парня. Она быстро собрала в узелок необходимое, мужики подсобили ей залезть в вагон, закрыли дверь. И поезд тронулся. В Аткарек, в железнодорожную больницу.

В Аткареке Григория сняли с поезда и положили на деревянном перроне. Осталась Маруся одна в чужом городе рядом с бредившим Григорием. Понимала, что надо скорее в больницу. А как, куда, на чём? Обращалась к первым встречным. И нашла отзывчивую душу. Пожилой железнодорожник, узнав, что больной парень — рабочий с путёвного перегона, нашёл подводу и довёз до больницы. Григория положили на зелёные носилки и по широкой каменной лестнице понесли на второй этаж.

— А вам сюда нельзя, — строго сказала женщина в белом халате.

Ну, откуда у Маруси такая смелость взялась и настойчивость — диву даешься. Только сказала она так твёрдо, что женщина в белом халате удивлённо подняла брови:

— Никуда я от него не уйду. Он же слабенький, ему помочь надо. Можно я на полу рядом с ним буду? А? Не помешаю я. Полы мыть буду, стирать. Я всё умею. Оставьте меня с ним.

Женщина помолчала, разглядывая девушку, а потом спросила:

— Вы кто же ему будете?

Ни секунду не помешкала Маруся с ответом:

— Невеста я его. А Гриня жених мой.

Врачиха ласково улыбнулась и сказала:

— Ладно, оставайся. Сейчас халат и тапочки тебе принесут. Но спать придётся где угодно — койки все заняты. На стульях можно — одеяло найдём. А помогать придётся. И по кухне, и в палатах.

— Да я всё сделаю, только вылечите его! — горячо ответила Маруся.

Через две недели их провозжали домой всей больничной. Докторша не хотела выписывать, слаб ещё. Но Григорий прошёлся по палате на руках, кувыркнулся через голову и, высоко подпрыгнув, дотянулся до висящей лампочки. И счастливо засмеялся. Докторша развела руками и сказала:

— Так и быть. Выпишу. Но тяжёлую работу пока не делай. Надорваться можно после болезни. А ты, Марусенька, последи за ним. Вам ещё жить да жить...

## 7

На подъеме товарняк сильно сбавил скорость, и Григорий с Марусей без труда спрыгнули с подножки вагона на железнодорожную насыпь. В небе занималась алая заря. Густая роса высеребрила разноцветье трав. Отяжелели гибкие ветви берёз, свисая почти до земли.

Перед казармой они умылись, смачивая ладони холодной росой, порозовели, посмотрели друг на друга долгим взглядом и, взявшись за руки, ступили на крыльцо.

Отец с матерью уже не спали. Он скоблил жёсткую щетину на подбородке, очищая лезвие бритвы о кусочек газеты. А она готовилась топить печь.

На столе, накрытые чистой тряпкой, подходили хлеба. Увидев сына с Марусей, отец отложил бритву, протёр подбородок полотенцем и весело сказал:

— А ты, мать, все глаза проплакала. Слава Богу, вернулись.

— Тять, маманя, — начал Григорий, не выпуская руки Маруси, но она шепнула ему: “На колени надо...”

Держась за руки, они встали на колени, и Григорий закончил:

— Благословите нас, пожениться мы решили.

Отец снял старенькую иконку из угла и, как умел, благословил молодых на совместную жизнь. Мать, более сведущая в этих делах, заставила молодых целовать икону, а потом друг друга. Словом, когда заря занялась в полнеба, Григорий и Маруся были мужем и женой. И перед Богом, и перед людьми. А свадьба... Эх, не до свадеб в то время было.

К вечеру отец поставил в угол кровать, отгородил её синей ситцевой занавеской — и это было для молодых пределом счастья. Можно было и поворковать вволю, а как заснут все — и честным делом заняться. Слаще мёда жизнь у них пошла. Плохое-то не забылось, но отступило подальше в памяти, и они старались не вспоминать его, не тревожить. Правда, оно само давало о себе знать помимо воли.

Когда стали люди возвращаться в родные края из дальних стран, прошёл слух, что кто-то видел во Владивостоке Митьку-злодея живым и здоровым. Сказывали, будто со шпаной связался и ведёт нехорошую жизнь, распутничает. Так это или не так — не ведомо. Может, обознались. Столько лет прошло, а весточки на родную сторонку Митька так и не дал.

\* \* \*

Начала выправляться деревня от мора. Землицу стали пахать да засеивать, замычали коровы по утрам, заблеяли овцы. Земля, знамо, крепко держит людей при себе — не оторвёшься.

Не мог свыкнуться с работой по часам на железной дороге и отец Григория. Вернулись в родной дом всей семьей. Но работать Григорий с братьями остался на железной дороге. Понравилось ему это дело, многому научился, стал помощником бригадира. Это ничего, что за два километра ходить приходилось. Успевал Григорий и отцу по хозяйству помогать.

А Маруся — дай Бог каждому такую супруженьку. Если Григорий за один конец бревна взялся, она тут же норовит за другой ухватиться и пособить. Любо было на них смотреть в работе. Но хмурость в жизни все же имела — детишек Бог не посылал. Но надежды не теряли. Должно сотвориться. Верили.

Однако не успела деревня насытиться да приодеться, как громынула война. Где солдатушек брать? Знамо, в деревне. Толпами уводили новобранцев. Сначала молодых, а потом и тех, кто в возрасте. Возвращались редкие да покалеченные. И четыре страшных года сердце у Маруси обрывалось при каждом стуке в дверь. Одного за другим увела война и младших братьев. Две сестры ушли на фронт сами. А потом призвали и Григория Киреевича. Опустел дом. Но на чудо человек надеется всегда. Однако оно на то и чудо, чтобы редко-редко показываться людям. Не обошла беда стороной. Сначала оплакали отца, потом среднего брата, затем матушку — не выдержала она, задавило её громадное горе. Но война, будь проклята на все века, кончилась. Вернулся Григорий домой в золотых погонах, вся грудь в орденах и медалях. Когда зашёл в комнату, Маруся упала в обморок. Обомлело сердечко от счастья.

Что же теперь поделаешь, милые мои! Тяжело, знамо, а жизнь вести дальше надобно. Живой человек не должен одной печалью и тоской жить. Круче за дела братья надо. А за делом и временем и печаль растворится, и тоска отстанет. Поверьте, милые мои, правду говорю. И сам пожил-помытарился, и людей бывалых встречал-выслушивал.

Через неделю принесли в Плечёвку телеграмму. Григория срочно вызвали к начальнику дистанции пути, в Аткарск. Тоже бывший фронтовик, толь-

ко постарше, он обнял Григория, потом открыл тяжёлый сейф, достал два гранёных стакана и бутылку со спиртом. Налил по полстакана, положил перед Григорием кусочек чёрного хлеба с ломтиком пожелтевшего сала и, подставив стакан, сказал:

— С бригадирством тебя, Григорь Григорич. И за то, что с ногами-руками вернулись оттуда.

Чокнулись и дружно выпили. Начальник расспросил о семье, покачал сочувственно головой и налил ещё по полстакана:

— Давай помянем их: твоих и моих.

Выпили. Помолчали. Потом начальник убрал стаканы и сказал в напутствие:

— Сейчас забирай приказ, все инструкции и завтра на работу. Ждут там тебя уже. Лучше, конечно, тебе снова на казарму переехать. Сподручнее. А работы, Гриша, невпроворот. За эти годы ни шпалы, ни рельсы толком не меняли, да и полотно расползлось-размылось, просело местами. Того и гляди, крушение случится. А за это, сам знаешь, нам с тобой головой отвечать придётся.

Переезжать в казарму Григорий не стал. Двое младших братьев и сестра ещё с войны не вернулись. Хотел их встретить в родительском доме, честь по чести, чтоб оттаяли душой. А там видно будет. Маруся тоже была за это. Да и хозяйством снова обзаводиться требовалось. Коровку — в первый черёд. Без жиров на тяжёлой работе долго не продержишься. Привычный Гриня к молоку-то. Бывало, возьмёт из рук жены горшок и выпьет до дна.

Закрутилась жизнь — передохнуть некогда. Вернулись два младших брата — Ефим и Виктор: высокие, плечистые, немногословные и суровые — в отца. Григорий тут же зачислил их в свою бригаду. А там и сестричка Наталия объявилась. Не сразу признали в рослой черноволосой девице в солдатской форме и с двумя медалями на высокой груди смешливую и егзливую Наталку. Да и пришла она не одна. Опирался на её крутое плечо высоченный костистый старшина. Видно было, что нелегко ему дался путь от железной дороги до деревни.

— Кажись, изранетый весь, — сокрушённо переговаривались бабы, глядя вслед солдатам.

Не ошиблись. Полгода валялся старшина по госпиталям, пока вынимали из него железо, сращивали перебитые кости, сшивали разодранные мышцы. Выжил солдат. Главное, разыскала его зенитчица Наташа, с которой крепко сдружились на фронте, и вернула солдатскую душу к жизни, увезла к себе домой. Старшина Павел Штыров, как и многие в те времена, был один-одинёшенек на белом свете.

Григорий, ставший всем за отца, по-доброму принял Павла. Запретил строго-настрого заниматься делами, подливал ему в миску похлёбку погуще, со дня чугуна, а мясо случалось — лучший кусок оказывался у Павла. Утром Маруся, тоже ставшая всем за мать, приносила Павлу кружку парного молока и заставляла выпить. Прошли месяцы, и повеселел солдат, пробился на сухих щеках румянец, окреп голосом, уверенней стала походка. Радовались за него всей семьёй. А вскоре нашлось и ему дело в деревне, как раз по его состоянию — учётчиком в поле. Мужики шутили:

— Ему и аршин не нужен. Как ходульнёт своими ножищами — так тебе и аршин.

## 8

Жизнь новая потеснила старую, заметала её следы. Да разве всё заметишь? Каждая живая душа, хочет она этого или нет, впитывает память о прошлом и выносит её на белый свет снова и снова. И не властен никто над этим. Глубоко вросли корни жизни. Думаешь, пропало всё, исчезло, ан нет. Вынесут корни на поверхность былое, и обернётся оно жизнью уже сегодняшней. Как обернётся — Бог рассудит. Но без следов ничего не остаётся, от каждого деяния нынешнего уходит тропинка в прошлое и обязательно протянется в будущее. Погодите, милые мои, поясню, о чём говорю.

...Появился он в деревне уже после войны. В блестящих хромовых сапогах, в чёрных шерстяных брюках навыпуск, в голубой плисовой рубахе-косоворотке, в чёрном пиджаке внакидку и с жёлтым чемоданчиком в руке. Не сразу признали в щёголе с завитками чуть седеющих волос Митьку Косарева. А он шёл по деревенской дороге и свысока-снисходительно поглядывал по сторонам. Отец его с матерью и две сестры сгибли в голодовку, брат с фронта не вернулся. Осталась только дальняя родственница. К ней и направился Митька гостевать. На другой день собрал оставшихся в живых сверстников и загулял с ними — дым коромыслом. Сколько самогонки попили — страх один. Но песен слышно не было. Сорил Митька деньгами и бахвалился своей роскошной жизнью в далёком Владивостоке. Однако деревенской жизнью интересовался, расспрашивал, что да как. Дико удивился и грязно выругался, когда узнал, что в голодовку Григорий фактически спас Марусю, а потом женился на ней.

И живут они сейчас душа в душу. Одна беда у них — ребятишек Бог не даёт. А Григорий-то с войны офицером приехал — вся грудь в орденах. Сейчас большой человек — бригадир в пути. Уважают люди его. На это Митька опять грязно выругался. Не по нутру пришлись вести.

Через неделю засобирился домой. Дела, говорит, ждут, работать надо. А что за работа такая — не сказывал. Послал родственницу в дом к Григорию предупредить, что зайдёт вечером повидаться-попрощаться. Родственница хотела отговорить Митьку. Но тот жёстко сказал: “Иди! Не затем ехал. Хотел посмотреть на свою зазнобу”.

Вечерело. Григорий пришёл с путей, сбросил с плеча тяжёлую кувалду, умылся, надел чистую серую рубаху и сел за стол. Жена выставила на стол дымящийся чугунок с картошкой, крупные зелёные огурцы, не размешивая, слила из горшка в жестяную кружку холодное молоко.

Прижав к груди непочатый ситный каравай, Григорий бережно отрезал три куса хлеба и спросил:

— А сама чего не садись?

— Я, Гринь, уже повечеряла...

— С чего это? Знаешь, не люблю я один есть, — и вопросительно-сердито посмотрел на Марусю. Она смутилась и вышалила:

— Митька Настёнку присылал. Передал, что зайдёт повидаться. Нехорошо мне стало, Гриня, боязно. Я с ним за стол не сяду...

Григорий нахмурился, потёр короткую мощную шею, тяжело вздохнул и сказал неторопливо, с расстановкой:

— Незванный гость, а куды денешься? Не думал, что осмелится... Да видно, сам Бог ведёт его ко мне... Жарь яичницу, Маруся. И бутыль самогона из подпола вытащи. На сухую-то, чаю, разговора не будет. А потолковать есть о чём...

Он залпом выпил кружку молока, встал, заложил руки за спину и, пока Маруся, испуганно поглядывая на мужа, разжигала огонь на шестке, медленно и угрюмо шагал по просторной избе. Половицы настороженно поскрипывали под его тяжёлыми шагами.

За четыре года после войны Григорий налился зрелой мужской силой. Маруся, бывало, сама кусок не съест, а мужу в сумку на обед сунет. Ругал он её за это. Она покорно винилась, но своё так и гнула. Жили дружно, в уважении друг к другу, в заботе. Только один червь постоянно точил сердца — обоим за тридцать, а ребятишек нет. Бабы втихомолку поговаривали, что испортила себя Маруся, когда руки на себя наложила.

## 9

Митька постучал в дверь неожиданно и резко. Встал у порога, опустил на пол чемоданчик, быстро окинул цепким взглядом скромное убранство комнаты, чуть задержался на висевшей офицерской гимнастёрке с золотыми погонами, орденами и медалями, шагнул вперёд и уверенно, как бы свысока, сказал:



— Вечер добрый, земляки. Уезжаю сегодня с пассажирским. Вот решил зайти. Как-никак, вместе ведь без штанов бегали. А вы, гляжу, ужинать собрались?

Григорий не сделал шага навстречу, но ответил:

— Здорово, Митяй. Угадал. Подходи к столу. Упредили меня. Тебя жду...

Григорий налил по гранёному, вскользь чокнулся о Митькин стакан и молча выпил до дна. Митька посмотрел на широкие массивные плечи Григория, загоревшую бычью шею, заметил:

— Эж, какой ты здоровенный стал.

— Пей! — мотнул головой Григорий.

Митька выгнул стакан до дна, хрустнул огурцом и крикнул:

— Как шпирт! Аж дух захватило.

Григорий коротко ответил:

— Первач. Ешь, а то развезёт.

— Да я привычный по этому делу, — ухмыльнулся Митька, и, щёлкнув себя по выступающему кадыку, спросил, с интересом разглядывая Марусю:

— А хозяйка-то что не присядет? Марусь, иди, садись рядом с нами. Всё-таки в соседях жили...

Маруся в нерешительности замешкалась, не зная, как ей поступить, и взглянула на мужа. Григорий суровым взглядом остановил её и сказал:

— Она повечеряла. Да и скотину пора встречать, — и взглядом указав жене на дверь, добавил, — воды в колоду не забудь налить.

Поставив на стол пышущую жаром чугунную сковородку с яичницей, Маруся с тревогой посмотрела на мрачного мужа и вышла во двор.

Налили по второму. И тоже до дна. Без слов. И яичницу ели молча. Хмель ударил в голову, растёкся по телу. Григорий побагровел, но вёл себя сдержанно. А Митьку повело, язык развязался. Свысока поглядывая на Григория, он расплылся в надменной улыбке и сказал:

— Не думал и не гадал я, что Марусенька тебе достанется. Сколько парней-то около её вертелось! Она и сейчас как королева. По ней бы не такую одежонку носить...

— И я не думал. Да вот Бог свёл. Не жалею. А одежонку — не беда, наживём, — ответил Григорий и, давая понять, что незваному гостю пора уходить, спросил:

— Ты на поезд не опоздаешь?

Но, захмелев, Митька не понял намёка. До прихода поезда оставалось ещё часа два с половиной, а ему до смерти хотелось поговорить. Кто знает, придётся ли снова вернуться на родную сторонку. Вор он был. Дерзкий и удачливый вор. Тянулася за ним и ещё одна дурная слава, про которую даже прожженная портовая шпана помалкивала и держала язык за зубами.

Дожив почти до сорока лет, Митька по-крупному не попался. Только раз ему приварили два года. За драку. Топтал он зону от звонка до звонка.

Хотя жизнь Митьки, не в пример деревенской, была роскошной, а при удаче — и шикарной, сейчас втайне и злобно завидовал Григорию. За то, что красавица Маруся стала его женой, за то, что уважительно отзывались о нём деревенские, за то, что сидел перед ним глыбой и веяла от него на Митьку какая-то непонятная власть. За то, что не он, а Гринька пришёл в деревню с войны в золотых офицерских погонах и с орденами во всю грудь. За то, что даже старики величают его в деревне по имени-отчеству.

— Ты, похоже, хорошим воякой был. Вона вся гимнастёрка в орденах. И погоны офицерские, — выплеснулось у Митьки.

— Воевал — не прятался. В разведке. А там, коли жив остался, каждый в орденах. Младшего мне уже после войны дали. А так я старшиной воевал, — спокойно и с достоинством ответил Григорий.

Митька почувствовал, что проседает его разгульная жизнь куда-то в пустоту от скромного достоинства и уверенности в себе этого человека. И будто чёрт тянул его за язык. А может, хотел показать, что и он не лыком шитый. Словом, опять полез с хмельным языком к Григорию.

— Слушай, а приходилось немца убивать не издавая, а так, чтобы друг против друга. Ножом, скажем...

Григорий нервно поморщился, снова налил, залпом осушил стакан, зажевал хлебом с яичницей. Потом уставился на Митьку серым немигающим взглядом и скомандовал:

— А ну, пей!

Митька понимал, что ему уже хватит перед дорогой, но отказаться под жёстким взглядом Григория не смог. Осушил.

Григорий, подперев голову чёрным мозолистым кулаком, наконец, ответил на вопрос Митьки.

— Приходилось и ножом. Говорю же, в разведке воевал... Но вспоминать про это тошно...

— Ха-ха! — хохотнул Митька. — А мне человека зарезать — нет ничего.

Митька снова хохотнул и, гордо задрав голову, свысока и дерзко посмотрел на Григория.

— А ты сам-то воевал? — угрюмо спросил Григорий, самопроизвольно скручивая в спираль железную ложку.

— С девками я воевал. Эх, и жизнь была, Гринька! Не жизнь, а малина, — и он самодовольно и нагло захохотал.

Набычился Григорий. А потом, упёршись в Митьку потемневшим недобрый взглядом, тихо выдавил:

— Митяй, а ведь друга моего закадычного Миньку... ты тогда...

Митька не смутился, дёрнул головой и, недобро сверкнув глазами, ответил:

— Нашёл что вспоминать. Двадцать лет прошло. Ну, я. Всё давно быльём поросло. Вон сколько люда сгнуло в голодовку да на войне...

— Не поросло, Митька, не поросло... Как же у тебя рука поднялась на такую душеньку? Скольких людей радовал на своей двухрядке! Божий он человек был. Светло от него шло. А ты ножом по горлу... из-за денег...

— Да он всё “мама” кричал. Вот я ему горло и перехватил, чтобы не мучился.

Григорий всхрапнул так, что Митька отшатнулся и стал трезветь. Чувствуя ненавидящий взгляд, он понял, что сболтнул лишнего. Поднялся, щёлкнул серебряной крышкой карманных часов, сказал:

— Пойду я. А то совсем стемнело. В пору до поезда дойти. За угощение — спасибо. Крепок ты пить.

Григорий поднялся следом за ним. И мирно сказал:

— Успеешь. Провожу я тебя. Вдоль речки пройдем. Так короче. Чай, помнишь эту тропинку?

Уходя из дома, он остановился у порога, обернулся и перекрестился на образ. Митька заметил это и насмешливо сказал:

— Штой-то ты больно божливый стал.

Григорий не ответил. Пройдя огородами, они спустились к речке и пошли берегом. Потянуло холодом. Взошла луна и проложила наискось через неширокую водную гладь серебряную дорожку. На берегу омута Григорий тронул Митьку за плечо и остановился.

— Ты чего? — спросил тот.

— Ставь чемоданишко. Я с тобой за Миньку квитаться буду. Хотел ещё тогда, после похорон. Не успел — скрылся ты... А я сразу понял, кто его сгубил. Ты и к гробу не подходил, и глаза не поднимал. Держись, Митяй!

Митька отбросил чемодан, отступил на шаг и зловеще сказал:

— Гринька! Я предупреждал... Со мной шутки плохи!

Но Григорий и не думал шутить. Размахнувшись, он ударил Митьке в левый висок. Тот успел закрыться рукой. Но удар был настолько мощный, что оглушённый Митька, крутнувшись, упал на землю. Однако быстро вскочил и в ярости бросился на Григория. Тот отступил назад и снова ухнул Митьке в висок. Тот не успел закрыться, шмякнулся на землю и затих. Из уха потекла кровь.

Григорий подождал немного, потом пнул Митьку ногой и властно сказал:

— Вставай! Ты знаешь, лежачих не бьют. Вставай!

Митька постепенно приходил в себя. Сел, ощутил голову. А потом стал медленно подниматься с земли и незаметно сунул руку за голенище сапога. Э-гей, Митька! Не в добрый час ты схватился за нож. Это тебе не тёмной ночью в подворотне пугать и грабить насмерть перепуганных прохожих. Ты ещё только переступил порог дома, а фронтовой разведчик сразу приметил характерный бугорок на правом голенище и подумал: с ножом пришёл в гости землячок. И сторожко следил за каждым твоим движением.

Когда в лунном свете блеснуло лезвие финского ножа, Григорий стремительно бросился вперёд и со всей силы хряснул Митьке снизу в лицо. Митька коротко “акнул”, запрокинулся и плетью рухнул на спину.

Нож отлетел в сторону. Григорий поднял его, попробовал пальцем остро отточенное лезвие. Долго смотрел на неподвижно лежащего и булькающего кровью Митьку, стиснул наборную рукоятку финки, размахнулся и... швырнул нож в тёмную воду реки. Коротко всплеснув, он исчез в глубине омуты.

Григорий ещё раз посмотрел на обливающегося кровью Митьку:

— За Миньку я поквитался. Теперь Бог тебе судья, — сказал он и, круто повернувшись, размашисто пошёл домой.

За околицей заиграла гармошка и сильный девичий голос запел: “Что стоишь, качаясь, тонкая рябина...” Минькина песня, подумал Григорий и глубоко вздохнул.

## 10

Когда фигура Григория растворилась в дымке вечера, из тени старой ветлы, росшей на берегу реки, на лунный свет вышли двое и, оглядываясь по сторонам, подошли к неподвижно лежащему Митьке.

— Живой? — спросил один у наклонившегося над Митькой.

— Вроде, дышит. Берём его под руки. Надо успеть к поезду. Иначе беды не оберёшься. Ухандакал его брательник. Смотри, морды-то нет, одно мсиво. Обмыть надо, может очухается.

— Речку будем переходить — окунём. А пойдём полем, напрямик. Чтоб не повстречать кого...

Залязгав буферами, пассажирский поезд остановился. К последнему вагону из придорожной лесополосы двое высоких плечистых мужиков почти волоком подтащили третьего. Он еле передвигал ногами, голова болталась из стороны в сторону. От него густо разило самогонкой. Проводник, пожилой железнодорожник, запротестовал:

— Куда мне такого пьянящего. А морда-то, морда! Страх один! Нет, я его не возьму. А ну оклемается да буйнить начнёт.

— До утра точно не оклемается, отец, — сказал тот, что постарше, — довези его до Саратова, а там — как сам знает. Вот его кошелёк. На билет возьмишь, а остальные вернёшь. Ему далеко ехать — до Владивостока. Давай-ка мы его на полку положим.

Митька силился открыть затёкшие глаза, мычал, с трудом шевелил разбитыми губами, но вскоре впал в забытё.

Лязгнули буфера, вагон дёрнулся с места и, постукивая колёсами на стыках рельсов, стал тихонько набирать скорость. Двое выпрыгнули из тамбура на мягкую галку железнодорожного полотна и быстро скрылись в лесополосе. Сначала стих шум уходящего поезда, а потом исчез в темноте и красный хвостовой фонарь.

\* \* \*

Добрался всё-таки Митька до своего Владивостока. Но с поезда сойти не смог. Ноги подкашивались, мотало из стороны в сторону. Отвезли его в больницу. Пролежал там с месяц, оклемался немного и ушёл домой. Недели полторы не выходил на улицу. Уж не Богу ли душу отдал, — подумывали соседи, испуганно поглядывая на занавешенные окна. Но стучать не решались.

Боялись они его. Скрывай — не скрывай, а все уже знали, что тёмную воровскую жизнь ведёт этот одинокий человек.

Когда он, наконец, вышел, трудно было узнать в нем прежнего щёголя, надменного и дерзкого Митьку. Исхудал, виски стали белыми, голова с перебитым носом опустилась на грудь, чёрные глаза потеряли дерзкий блеск и равнодушно смотрели на белый свет. Хотя к нему продолжали наведываться по ночам тёмные люди, сам Митька перестал исчезать по ночам из дома. А вот днём брал палку и, опираясь на неё, уходил в город. Возвращался лишь к вечеру. Только потом до соседей дошло, что тёмный человек Митька как на службу ходит к церкви, раздаёт милостыню нищим и убогим, кои обосновались за церковной оградой. А потом часами сидит на лавочке, отрешённо смотрит в землю и изредка шевелит губами. Но в церкву не заходил ни разу.

Примелькался Митька за церковной оградой. Однажды богомольная старушка подседа к нему и сочувственно сказала:

— Вижу, дитяtko, чёрная мука ест тебя. Зайди, дитяtko, в церкву, попроси прощения у Бога. Полегчает.

За долгие годы Митька впервые и остро почувствовал человеческое участие к своей судьбе и дрогнувшим голосом тихо ответил:

— Не могу в церкву, мамаша. Туда идут хоть и грешные, но всё — чистые. А я душегуб... убивец я...

Старушка испуганно перекрестилась, встала, собираясь уйти, но что-то удержало её. Подумав, она перекрестила опущенную Митькину голову и сказала:

— Бог милостлив. Замаливай грехи, проси прощения.

Но так и не смог зайти Митька в церковь. Раз, правда, пытался, но споткнулся на каменном крыльце, сел на ступени, и отчаянная мука отразилась на его лице. А месяца через три он освободил землю. Угорел до смерти в своём доме. Хоронили его дружки. Никто не плакал. Лежат теперь Митькины кости в далёкой стороне. Поросла бурьяном могила.

Видать, правду люди говорят, что зло обязательно вернётся к тому, кто его сделал. А не успеет, то к детям или внукам его, но вернётся обязательно. Так что, милые мои, берегите душевную свою от зла и чёрной зависти, сохраните её такой, какой матушка с батюшкой дали. Тогда и получится жизнь праведная да чистая. И ребятишкам вашим, и внучатам такой достанется.

\* \* \*

А в Плечёвке всё шло своим чередом. Не вдруг, но стал крепнуть местный колхоз. Земли вокруг — сплошной чернозём. Мало-помалу стали приывать люди к новым порядкам. Даже вкус почувствовали в них. Что ни говори, а важные колхозные дела решались сообща. Каждый свой голос имел. Хотя часто на поверку выходило, как scomандуют из района, так и делали. Но мужики не были бы мужиками, если бы над землёй зачали дуроломничать. С опаской да оглядкой, но делали так, как считали нужным. И в убытке не оказывались.

Сватали в колхоз и братьев Григорьевых. От добра добра не ищут, рассудили они, и решили не пытаться судьбу в колхозе. Тяжёлая и ответственная была работа на железной дороге, но за неё платили деньги, а не палочки-трудодни ставили. К тому же путейцев одевать и обувать стали за счёт железной дороги. Каждый полмесяца на разъезде останавливался вагон-развозка, в которой по сносной цене отпускали пропитание и мануфактуру, чтобы обшить семью. Что и говорить, заботился дорожный профсоюз о рабочих, стоял за них горой и власть имел большую.

А к земле Григория тянуло. Может, и вернулся бы к ней. Но тёмная недобрая память осталась у него в душе от коллективизации, когда силком вершили судьбу над единоличником и всех загоняли в колхоз. До сих пор не мог взять в толк и понять, за что вечного труженика Марусиного деда Фёдора, который один со своей старухой, вытягивая жилы, воспитывал семерых сирот, раскулачили. Отняли лошадь, корову, овец. И свели деда Фёдора с баб-

кой Матрёной в могилу. А сирот, детей двух сыновей, погибших в Первую мировую войну, безжалостно пустили по миру. Выжили, к счастью, все, но лихушка-то хватили столько — не приведи Господь никому. Да мало ли таких семей было! И вот что горько: не чужаки это творили, а свои же, деревенские. Некоторые совсем совесть теряли. Зайдут в дом — и в первую очередь к печке. Выставят оттуда всё, съедят, а уж потом за сундуки да сусеки принимаются, по сараям да подвалам шастают. И выла обобранная до нитки семья от невесть откуда свалившегося горя. У некоторых, бывало, и взять-то нечего, так скамейки и столы вытаскивали.

Терзали деревню, не оставляя живого места... Будь ты хоть ангелом, а время то добрым словом не вспомнишь.

Увёл Григорий семью от этой напасти. Вывела его железная дорога в люди. Другую жизнь познал. А сердце нет-нет да захолонёт тоской. Особливо когда попевала земля под сев и колыхалось над ней синеватое марево, или когда начиналось жнитво и стучали перепела в спелых хлебах...

## II

Через полгода с небольшим дошёл до Плечёвки слух, что на чужбине угорел до смерти Митька-злюдей. По недосмотру или сам закрыл заслонку горячей печи. Неведомо. Дверь в дом не была заперта. В деревне никто не опечалился. Угорел и угорел. Даже единственная дальняя родственница встретила нехорошую весть равнодушно. Никому не сделал он добра.

Бригада путейцев, многие из которой были плечёвские мужики, как раз перекуривала, сидя на штабеле тёплых от весеннего солнца старых шпал. Завели разговор про Митьку. Один из его сверстников, попыхивая козьей ножкой, задумчиво сказал:

— Да-а-а... Думал от себя скрыться... Вона в какую далищу укатил... Но разве с таким грехом от себя спрячешься. Это он Миньку-то — гармониста...

— Если бы только Миньку одного, — поддержал разговор второй. — Он здесь спяну такое выболтал, что волосы дыбом вставали. Бахвалился, что на заказ, за деньги людей резал. Угорел — туда и дорога. А вот кто-то из наших ему перед отъездом всю голову разбил и нос проломил — это подолом.

Братья Григорьевы переглянулись. Чтобы прекратить дальнейшие разговоры, Григорий скомандовал: “А ну! Кончай перекур”. Он схватил тяжёлый молоток на длинном черене и с криком, с одного раза вогнал костьль в шпалу по самую шляпку. И махал, вгоняя костьли, до тех пор, пока серая выгоревшая на солнце рубаха не потемнело от пота.

Не сказать чтобы Григорий возрадовался пришедшей издалека вести. Нет. А вот чувство, что свершилось справедливое и неизбежное, всколыхнуло его. К тому же он сильно верил, что успокоится теперь Минькина душа, простит за то, что не остерег друга в ту страшную ночь. Облегчилось сердце у Григория, будто невидимая тяжесть свалилась с него.

\* \* \*

...А дальше, милые мои, было вот что. Не прошло и двух месяцев после вести из дальней стороны, как в разгар рабочего дня прибежал на путь запыхавшийся деревенский парнишка и сразу к Григорию:

— Дядь Гринь! Тётя Маруся упала у колодца и не дышит! За тобой послали...

Руки и ноги отнялись у Григория. Лицо, тёмное от загара, вдруг стало серо-белым. Он медленно спустился с насыпи, продрался сквозь колючие заросли лесополосы и что есть мочи побежал полем к деревне. Два километра отмахал на одном дыхании. Забежал в дом. Первое, что увидел — бледное лицо Маруси с закрытыми глазами. Около неё хлопотала старушка. Сердце у Григория болезненно сжалось:

— Жива? — с надеждой выдохнул он.

Услышав его голос, Маруся открыла глаза, слабо улыбнулась и протянула руку. Он схватил её, крепко прижал к груди, и скупые слёзы потекли по щетинистому лицу. А Маруся приклонила его голову к себе и взволнованно прошептала:

— Гриня! У нас ребёночек будет.

Григорий потерял дар речи. Сколько лет ждали! Сколько надеялись, сколько Марусиных слёз пролито, сколько угрюмой и безысходной тоски таилось в сердце у Григория. Бежал через поле — готовился к беде. А тут! Будто солнце в ночи вспыхнуло. И верить, и не верить запоздалому, но оттого ещё более желанному и великому счастью. У них будет ребятёночек!

Старушка, тоже всплакнув на радостях, подтвердила, глядя на Григория добрым просветлённым взглядом:

— Правда, истинная правда, Гриня. Понесла она. Что голова закружилась да обмерла — у баб такое бывает. Впервой ей, вот и испугалась. Отойдёт. Вон, видишь, щёчки-то розоветь стали. Погоди, разрешится — ещё краше станет. А пока береги её. Особливо чижолого не давай подымать.

Счастье к человеку, милые мои, по-разному приходит и по-разному плачет и смеётся от радости. Но, чаю, в тот момент не было людей более светлых, переполненных долгожданным и великим, чем Григорий с Марусей. Крути — не крути, а без ребятишек жизнь на месте топчется, не идёт дальше, не звенит, не переливается детскими голосишками. Чего говорить-то: хоть так раскинь, хоть эдак — ради них и живём.

...Маруся гладила жёсткую мозолистую руку мужа и счастливо улыбалась. Лицо её покрылось лёгким румянцем и выражало великое благодарение.

\* \* \*

Морозной январской ночью в доме Григория раздался детский плач. Бабка-повитуха вынесла из-за занавески ребёнка и осторожно положила на руки Григорию:

— Смотри, сынок, какого она тебе бутуза выносила. Весь в тятку!

Несказанная нежность охватила Григория. Будто шире и добрее он стал душой, будто всё в жизни приобрело смысл и значение, будто алая заря выкрасила всё вокруг чистым золотом. И ещё. Он почувствовал, что крепче стоит на земле, что ему хочется сделать много-много добра людям, чтобы они были такими же счастливыми, как он сам.

Григорий тихонько и нежно прижал к груди сынишку и спросил повитуху:

— Как она?

— Всё хорошо, сынок. Здоровая она у тебя баба. Иди на улицу, не мешайся, потом зайдешь... Наговоритесь ещё, — лукаво подмигнула бабка.

Григорий набросил телогрейку и вышел во двор. Хватанул колочего морозного воздуха, весело засмеялся и, раскинув руки, упал спиной в мягкий сугроб. Не чувствуя жгучего снега за воротником, улыбаясь, он долго смотрел, как в морозном небе ярко блистали крупные звёзды, полыхая по краям изумрудной зелены. Потом вскочил, сложил руки рупором и протрубил во всю силу лёгких:

— Люди! Минька родился!

...Вслед за Минькой чередой пошли Стёпка, Гринька, Кирюшка, Федянька. Последней родилась черноглазенькая Марусенька. И на всех материнского молока, любви и заботы хватило у ставшей дородной и пышущей здоровьем матери Маруси.

Григорий с годами вошёл в обличье отца, да и норовом, строгостью в него удался. А ребятишек любил без памяти. За какое бы дело ни брался, сыновей около себя держал, учил с малолетства тому, что сам умел и разумел. Не пришлось потом краснеть за них. Добрые люди выросли, работающие и душой желанные. До самого конца покоили в уважении, чистоте и сытости родителей своих.

\* \* \*

Вот, милые мои, как оно всё обернулось да сладилось. Выходит, не пропадает добро. И поверх зла неминуемо остаётся. Не осилить его, не одолеть. Воскресает оно в жизни и в памяти людской. Не даёт сердцу очерстветь, зарости колючим кустарником, затмить ласковую светлость бытия нашего. Добро к добру всегда руки тянет, и помогают они друг другу. А на этом и душа человека растёт да крепится, расцветает силой и свежестью ярких красок весеннего утра, которое радостно обещает много-много хорошего...

Вот и сегодня прошла тёплая весенняя ночь и в полнеба разгорелась алая заря. С добрым утром, милые мои! Поведал я вам о том, что было. Надеюсь, что кто-нибудь хоть изредка да вспомнит дорогих сердцу моему Миньку, Гриньку и их возлюбленную — красавицу Марусю. И то далёкое и тяжёлое время, в котором они жили. Вспомнит, опечалится, задумается и посветлеет взором.

А зорька-то какая... Жить хочется! Знамо!